

(№ 49), Анара и в том же номере («ЛГ», № 2, 1987) интервью с французскими писателями, членами Академии Гонкуров Э. Базеном, А. Стилем, Э. Раблесом — сегодня продолжают читатели и критик В. Васильев.



Владимир ВАСИЛЬЕВ

НЕ ИСПЫТЫВАЮ никакого желания поверять достигнутое нынешней литературой «Войной и миром» или «Тихим Доном», но глубоко убежден в том, что духовное содержание этих великих книг наличествует в народной совести и в совести лучших наших писателей независимо от его материального, жанрового или даже типологического воплощения. Подразумеваю под совестью тот трудноулавливаемый вид исторической энергии народа, который определен А. Толстым как память общества, наследуемая отдельным лицом. «Так же как я ношу в себе все физические черты всех моих предков, — писал А. Толстой, — так я ношу в себе всю ту работу мысли (настоящую историю) всех моих предков... Она вся во мне, через газ, телеграф, газету, спички, разговор, вид города и деревни».

Соображение А. Толстого, на мой взгляд, имеет прямое отношение к феномену романного мышления, к его психологической основе. Подлинный романист аккумулирует в себе духовную работу предков и, сочиняя слова на бумаге, живет не только настоящими страстями своих современников, но и ощущает собственным затылком настороженный взгляд деда и прадеда. Этот суровый двойной контроль дает писателю чувство объективной исторической перспективы жизни, понимание того, «куда» человек сердечно развивается, куда идет. Высшая форма словесного искусства, роман «добывает» из дей-

судьба героя в ее целостности и законченности по отношению ко времени.

(Уместно сказать: «Судьба человека» М. Шолохова — более роман, нежели рассказ. Многие же «солидные» романы на производственную тему не что иное, как суесловные очерки на «злобу дня», написанные тем жеумочным слогом, какой не делает чести ни деловой прозе, ни собственно словесному искусству. В них нет романной основы, да и жизненного материала едва наберется на полноценную повесть или даже на серьезный рассказ.)

Исследуя нравственную природу современной действительности, В. Распутин и В. Астафьев теряют порою созерцательное художественное самообладание и пытаются как бы «выйти» из литературы для непосредственного вмешательства в жизнь. Я не считаю эти симптомы «больной совести» или гражданственности, аввакумовской по своему качеству, недостатком — бывают ситуации, когда не до эстетики и стилистики, когда, по выражению Л. Леонова, на площади в рельсу бьют. Потом ведь это чисто русская по природе гражданственность. Говоря словами А. М. Горького, В. Астафьев и В. Распутин пишут не как европейцы — «изящно, остро, со скептической усмешкой», а «по-русски, с тоскою, с кружком, с подавляющим преобладанием содержания над формой». Обстоятельство, которое необходимо учитывать нашей критике, с тем чтобы оставаться в пределах реальных и конкретных требований к писателям и не выпадать в «фольклор», общие места и отвлеченные суждения о публицистике в искусстве. Одно дело — прозаик беспомощный, и другое — художник, дающий образцы пластического письма и жертвующий эстетикой ради прямого, ясного и однозначного разговора с читателем. Тут уж дело упирается не в эстетическое, а в этическое поведение писателя; последнее всегда высоко ценилось в русской литературе и

зю. Полей с нарциссами уже остается мало, потому что скотина не любит их в сене»). Думая о том же, А. Блок писал 18 сентября 1908 года: «Интеллигенции надо торопиться, понимать Толстого с юности, пока наследственная болезнь призрачных «дел» и праздной иронии не успела ослабить духовных и телесных сил». И 29 октября того же года: «И главное, что я хотел сказать, — это то, что нам, интеллигентам, уже нужно торопиться, что, может быть, уже вопросов теории и быть не может, ибо сама практика насущна и страшна».

Размышляя о Толстом, Ф. Абрамов особо выделял его веру в духовное всемогущество людей, настаивал на идее самовоспитания, строительства души, каждодневном самоконтроле, каждодневной самопроверке «высшим судом, который дан человеку, — судом собственной совести».

Совесть — та сила, которая ведет толстовского Левина на вычку к мужику, а самого Толстого с котомкой странника — за пределы его яснополянского барского имени; та сила, по Абрамову, какая в годы войны поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, «беспощадно отбрасывала, карала все то, что пыталось выбиться из общего русла, зажечь своей, обособленной жизнью». Совесть напрямую связана с человеческим счастьем. Андрей Болконский и Пьер Безухов видят счастье в том, чтобы не испытывать угрызений совести перед народом.

Совесть в конечном счете — совершенно ясное представление человека о своих жизненных возможностях и четкое понимание им размеров того личного вклада, который он может внести в копилку общенародного опыта по созиданию «истинно человеческого» (К. Маркс) общества. Совесть невозможна без укоренения человека в историческом процессе, без знания им всего того, что наработа-

УРОКИ Федора Абрамова

вительности, художественную истину о человеке и истории.

Несмотря на все издержки современного литературного процесса, нахожу, что русская проза в лице ее наиболее видных представителей с названной романной задачей справляется и в немалой степени участвовала в подготовке происходящих ныне общественных перемен. Тот взгляд на исторический прогресс, который забирает сегодня права и утверждает, с бесспорной силой убедительности воплощен во внешне традиционном, скромном и даже аскетичном по художественным средствам выражения эпосе Ф. Абрамова. Необходимо воздать должное писателю, в известной тетралогии которого обрели концептуальную законченность все существенные многолетние искания так называемой «деревенской прозы», касающиеся прежде всего проблематики, связанной с историческим прогрессом и его отношением к ценностям национального характера. Абрамовская тетралогия, несущая в сокровенном существе своем очень серьезную предостерегающую тревогу, которую нам лучше или выгоднее было совсем не замечать, поставила нас перед необходимостью «мыслить, именно обо всей стране, мыслить исторически» (М. Горький).

Начиная читать Ф. Абрамова с романа «Две зимы и три лета», можно выявить все прихотливые и сложные извивы нашего развития в последние десятилетия и конкретно проследить за тем, как протекал самый процесс отторжения человека от главного дела его жизни — творчества действительности и созидания собственной судьбы: процесс замутнения смысла человеческой жизни, выразившийся в заколчавании избы, одичании культурных земель и оскудении духовного мира людей; процесс, в начале которого Калина Иванович с наганом в руке в одиночку берет монастырь с окопавшимися в нем белоохранцами, а в конце сидит одинокий Егорша Суханов-Ставров с бутылкой водки у зеленевшей лужи.

В романе «Дом» рассеивание и утечка исторической энергии народа достигают, кажется, предела, но вместе с тем предельно возрастает и сила противодействия хаосу и анархии. Она, эта сила, сосредоточивается и растет в каждом из героев писателя через жестокий самоанализ души, нравственное страдание или муки совести, ибо все — и максималистское правдоискательство Михаила Пряслина, и гибель Лизы, и припадки Григория, и раздавленная судьба Евсея Мошкина, и искверканная жизнь Егорши, — все в последнем романе художника взывает к братьям и сестрам, к тому социально-нравственному единству всех, которое называется не жителями, не населением, а именуется высокими словами нация и народ. В «Доме» происходит не просто схватка порядка с бесхозяйственностью, но подвергаются яростной атаке грубо социологизированные представления о жизни, идет решительная борьба за обогащение социологии нравственностью.

Названная коллизия приобретает черты мрачного пророчества в последней повести В. Распутина, которая, будучи поставлена в один ряд с его «Деньгами для Марии», «Последним сроком» и «Прощанием с Матерью», обнаруживает в своей глубине романное начало. И «Печальный детектив» В. Астафьева — все-таки роман, хотя, с точки зрения «записных мастеров» жанра, какой же это роман, даже по объему и, так сказать, по значимости событий и человеческому «материалу»? Заурядная бытовая проза... Внешне, однако, обманчива. Назвав «детектив» романом не без полемики, направленной против пухлых сочинений о «мировых проблемах», В. Астафьев прав по существу. Это роман в том понимании смысла и назначения жанра, в каком мы числим, допустим, «Героя нашего времени» по ведомству романистики. И там, и здесь —

предпочиталось «красивым словам». «Мастеров» по части эстетики языкового шаштета у нас хватает, а вот подлинные гражданские прорывы в литературе редки; но те, кто взваливает на себя груз всей словесности, осуществляют бросок вперед, облегчая проход и всем остальным, в том числе и критике. И вот теперь эта критика, уверившись в беспроигрышности положения, не спеша и вразвалку подходит, обмахиваясь эдаким китайским веером, к писателю и видит, что у того сапоги в грязи, по лицу пот течет, глаза горячечно блестят и дыхание с переборами... Нет, не худо бы нам обращать внимание на самих себя, соразмеряя собственные благополучные эстетические построения с действительным положением дел в жизни...

Некоторые произведения последних лет, посвященные людям искусства и науки, существенно дополняют в социальном объеме этот пласт прозы традиционным для русской литературы напоминанием об ответственности интеллигенции перед отечественной историей.

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ можно сказать: обогащение социологии нравственностью есть решительный поворот в духовном развитии нашего общества, поворот, подготовленный всей честной литературой последнего времени, обратившей, подобно классике, преимущественное внимание на такие «старомодные» и обветшавшие человеческие ценности, как любовь к ближнему, доброта, совесть, честь, гражданское достоинство, сострадание, милосердие... В ней (в этой литературе) традиционная народная культура, столкнувшись с современной действительностью, пошла навстречу духовным исканиям классической литературы прошлого, слилась с ними, оплодотворила их и сообщила им животрепещущую актуальность.

Основной вывод, вытекающий из анализа, скажем, «Братьев и сестер», где со скрупулезной тщательностью и редкой введливостью в материал исследована российская действительность на протяжении последних сорока лет, — «социальная перестройка жизни, не подкрепленная душевной работой каждого, не может дать должных результатов». Приведенное суждение — не открытие Ф. Абрамова. А. Толстой записал как-то в дневнике: «Устройство внешних форм общественной жизни без внутреннего совершенствования — это все равно, что перекладывать без известки, но на новый манер разваливающегося здание из неотесанных камней (метафора, ставшая, кстати, идейным центром абрамовского «Дома». — В. В.). Как ни клади, все не будет защищено от непогоды и будет разваливаться».

Личный вклад Ф. Абрамова в данном случае заключается в понимании того факта, сколь глубоко писатель укоренен в отечественной истории как живом, преемственном движении человека во времени. Он же и указал на остросовременность полного освоения богатств наследия А. Толстого, что подготовлено всем ходом и состоянием народной жизни. В этом смысле написанный после абрамовского романа «Карьер» В. Быкова, вещь, где подспудно ощущается духовное присутствие Толстого, — дополнительные аргументы в пользу провидческого дара Ф. Абрамова.

Социология и нравственность не противостоят, а обуславливают и обогащают друг друга, черпая энергию для развития из одного источника — понимания человека как сложного общественного и природного существа. Иной взгляд на человека и общественный прогресс неизбежно ведет к вульгарно-социологической фетишизации вещного, материального элемента и забвению элемента духовного. К такому пониманию цивилизации, размышляя о котором, А. Толстой пришел к выводу о преодолении прекрасного полезным, о противоположности цивилизации и культуры («Цивилизация исключает поз-

но до него историей и какой колоссальный труд всех предшествующих поколений стоит за его появлением на белый свет.

Писатели-«деревенщики» акцентировали внимание общества на процессах, связанных с небрежением к непреходящим ценностям духовной культуры, накопленным вековым народным опытом. Их не удовлетворял такой взгляд на исторический прогресс, согласно которому, по выражению Абрамова, великое благо «утверждает себя через слезы, через горе людское, через обрыв и разрыв корней».

Говоря о разрыве корней, Ф. Абрамов имел в виду взаимоотношения научно-технической революции и деревни (НТР глубже пашет, чем коллективизация, отмечал он), откуда, словно был задет главный жизненный болевой нерв, выросла вся ветвь этой прозы. Приветствуя прогресс, она сосредоточила внимание на его издержках, чреватых расчеловечиванием человека, отклонениями от созидания «истинно человеческого» общества. Писатели, для которых романное мышление есть органичный сплав социологии и нравственности, очень хорошо понимали: крестьянство как класс в старых характеристиках этой социальной силы исключительно как христианской, патриархальной и т. п. исторически обречено, но они отдавали себе и реалистический отчет в том, что поспешное раскрестянивание деревни волевыми, административными способами ведет к утрате человеком национального лица и чувства патриотизма. Этой прозе принадлежит в наше время приоритет внедрения в общественное сознание справедливой чеховской мысли о том, что созданный историей сокрушается не чиновничьими головами, а тою же историей, глубинными движениями в народной жизни.

Грустно, конечно, что ничего нового из написанного, скажем, Г. Троепольским или Е. Носовым, мы давно не читали, но, вспоминая сегодня и их слово в свете перестройки, мы должны быть справедливыми к работе всей прозы, провидевшей главное в нашем бытии.

Во всяком случае вообще полезно держаться действительности и помнить, что нынешняя перестройка, открывшая выход «душе», сполна оплачена народом беззастенчивым капиталом в виде утраты частью народа чувства ответственности перед историей страны, изломанных человеческих судеб, пьянства, этого национального бедствия, и других негативных явлений.

Федор Абрамов, написавший выдающееся эпическое полотно о России и русском человеке, художник, постоянно занимавшийся самоанализом, самовоспитанием и самообразованием, на исходе жизни пришел к горькому заключению: и себя, и людей я знаю плохо и приблизительно. В этом откровении нет позы, но есть — даже за вычетом толстовского максимализма — немало правды. Если бы дело обстояло иначе, то человек у нас не был бы столь подзапущен.

Литература стоит перед задачей восстановления в герое человека за счет расширения исследования действительности до реальной полноты жизни и познания ее глубины. Тот факт, что в человеке много природы — потому она и участвует ныне в прогрессе на равных с людьми, — мы, кажется, уже осознали, как и то, что оторвавшийся от природы интеллект опасен. Неясным, однако, остается многое, в том числе и элементарное и наивное, задаром отпущенное нашему роду на заре его существования, но теперь утраченное: ощущение живительных взаимосвязей и родства всего со всем.

Время склоняет к тому, чтобы писатель, художник, прежде всего романист, становился историком и мыслителем — без этих качеств невозможно «добыть» базис из «ровного», мирного течения действительности. Ибо новому обществу и новому человеку взяться неоткуда — они вырастают из истории.